Бобок / рассказ

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 24 января, 2025
Бобок / рассказ БОБОК (ЗАПИСКИ ОДНОГО ЛИЦА)

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

ЗАПИСКИ ОДНОГО ЛИЦА

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:
— Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?
Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор» Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо»
Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут…
Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали «Соли, говорят у вас нет»
— Какой же тебе соли,- спрашиваю с насмешкою,- аттической?
Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций…» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не

пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки,- живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте… и вот что под самый конец оказалось… впрочем, давно уже надо было предвидеть…» Это еще довольно хитро; так что с точки частого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет,- способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт… и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь…»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер

меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь — пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить, и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы?

Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим… или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

— Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать,- сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы

объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.
— Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?
— Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.
— Ну, болвана здесь не достанешь.
Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:
«Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова… таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года… пятидесяти семи… Покойся, милый прах, до радостного утра!»
Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.
— Ох-хо-хо-хо! — послышался совсем уже новый голос, саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки,- голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.
— Ох-хо-хо-хо!
— Ах, опять он икает! — раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света.- Наказание мне подле этого лавочника!
— Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.
— Так зачем вы сюда легли?
— Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.
— Накопил; людей обсчитывал?
— Чем вас обсчитаешь-то, коли с января почитай никакой вашей

уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.
— Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.
— Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом божиим во гресех равны.
— Во гресех! — презрительно передразнила покойница.- И не смейте совсем со мной говорить!
— Ох-хо-хо-хо!
— Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.
— Почему же бы ему не слушаться?
— Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.
— Какой же это новый порядок?
— Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.
— Ах, да! Ну всё же порядок…
Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.
— Нет, я бы пожил! Нет… я, знаете… я бы пожил! — раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.
— Слышите, ваше превосходительство, наш опять зато же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!
— И с легкомыслием.
— Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг :»Я бы пожил!»
— Скучновато, однако,- заметил его превосходительство.
— Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?
— Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.
— А я, напротив, вас обоих терпеть не могу,- брезгливо откликнулась крикса.- Оба вы самые прескучные и ничего не

умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство,- не чваньтесь, пожалуйста,- одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.
— Скверная женщина! — сквозь зубы проворчал генерал.
— Матушка, Авдотья Игнатьевна,- возопил вдруг опять лавочник,- барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..
— Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!
— Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись,- потому дух действительно нестерпимый, даже и поздешнему месту. Из вежливости только молчу.
— Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.
— Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..
— Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!
— Авдотья Игнатьевна,- заговорил льстивый чиновник.- Подождите капельку, новенькие заговорят.
— А молодые люди есть между ними?
— И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.
— Ах, как бы кстати!
— А что, не начинали еще?- осведомился его превосходительство.
— Даже и третьёводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.
— Да, интересно.
— Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.
— Гм, где же он тут?

— Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с… Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.
— Гм, нет уж… мне что же первому.
— Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я…
— Ах, ах… ах, что же это со мной?- закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок.
— Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.
— Ах, кажется, молодой человек!- взвизгнула Авдотья Игнатьевна.
— Я… я… я от осложнения, и так внезапно!- залепетал опять юноша.- Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!
— Ну, нечего делать, молодой человек,- милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал,- надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.
— Ах, нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп… и вот вдруг совсем неожиданно… главное, совсем неожиданно.
— Вы говорите, сначала грудь,- мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.
— Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу… и знаете…
— Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.
— А я, знаете, всё собирался к Боткину… и вдруг…
— Ну, Боткин кусается,- заметил генерал.
— Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и всё предскажет вперед.
— Его превосходительство заметил насчет цены,- поправил чиновник.
— Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и

рецепт… и я непременно хотел, потому что мне говорили… Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?
— Что? Куда?- приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.
— Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна.- Вот если б этакого подле положили!
Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок — я его давеча в гробу помню — выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.
Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая… мерзко и плотоядно хихикавшая.
— Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.
— А? что? — брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в

последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче — соблазнительное и тревожное в высшей степени.
— Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.
— Чего просите и что вам угодно?
— Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с… Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются…
— Не слыхал.
— Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич…
— Вы генерал Первоедов?
— Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов…
— Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.
— Оставьте,- с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.
— Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с…
— Оставьте,- повторил генерал.
— Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! — вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос — голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальною его скандировкою,- я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.
— Как, граф Петр Петрович… да неужели же вы… и в таких молодых годах… Как сожалею!
— Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отвсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu.1 Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых

бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен — Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом, развратили?

— Ах, это ты негодяй, ну хоть тебя бог послал, а то здесь…

— Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе… Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

— Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

— Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство,- я не вас, Первоедов,- ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

— Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверь-те…

— Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-pere2 [дедушка (франц.)] сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и — и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется,

теперь очень кстати помер. Grand-pere, grand-pere, слышите:·
— Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен и напрасно вы… пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия… я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё…
— Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал. Катишь Берестову!
— Какую?.. Какую Катишь?- плотоядно задрожал голос старца.
— А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-pere, что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я изнал… Катишь, откликнись!
— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки.- Хи-хи-хи!
— И блон-ди-ночка?- обрывисто в три звука пролепетал grand-pere.
— Хи-хи-хи!
— Мне… мне давно уже,- залепетал, задыхаясь, старец,- нравилась мечта о блондиночке… лет пятнадцати… и именно при такой обстановке…
— Ах, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.
— Довольно! — порешил Клиневич,- я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!
— Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад.
— Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, по-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?
— Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.
— Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.
— Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ,

естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.
— К делу, к делу!..
— Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок»,- но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой…
— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?
— Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться… и что это, так сказать, последнее милосердие… Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…
— Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!
— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.
— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом

воскликнула Авдотья Игнатьевна.
— Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться…
— Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!
— Я понимаю, Клиневич,- пробасил инженер,- что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.
— Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам всё объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас всё само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!
— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.
— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.
— Ах… ах… Ах, я вижу, что здесь будет весело, я нехочу к Эку!
— Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!
— Хи-хи-хи! — хихикала Катишь.
— Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-pere, вы согласны?
— Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.
— Протестую! протестую изо всех сил,- с твердостию произнес генерал Первоедов.

— Ваше превосходительство! — в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников,- ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка… и наконец, все эти разные штучки..
— Положим, девочка, но…
— Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем…
— Даже и в могиле не дадут успокоиться!
— Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать,- проскандировал Клиневич.
— Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.
— Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!
— Нет, не пшик… я и здесь…
— Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть, медных пуговиц.
— Браво, Клиневич, ха-ха-ха! — заревели голоса.
— Я служил государю моему… я имею шпагу…
— Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.
— Все равно-с, я составлял часть целого.
— Мало ли какие есть части целого.
— Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!
— Я не понимаю, что такое шпага,- провозгласил инженер.
— Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.
— Шпага, сударь, есть честь! — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.
— Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!
— Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит!- раздался было голос простолюдина, и…

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились, решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и — ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» — и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем напременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду, дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

[2] в высших сферах (франц.).

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ. Hekaýalar